

Сочинения Александра Пушкина. Статья шестая. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://belinskiyvissarion.ru/> Приятного чтения!

Сочинения Александра Пушкина. Статья шестая. В. Г. Белинский

Санкт-Петербург. Одиннадцать томов 1838–1841 г.

Поэмы: «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Братья-разбойники»

Нельзя ни с чем сравнить восторга и негодования, возбужденных первою поэмою Пушкина – «Руслан и Людмила». Слишком немногим гениальным творениям удавалось производить столько шума, сколько произвела эта детская и нисколько не гениальная поэма. {1} Поборники нового увидели в ней колоссальное произведение, и долго после того величали они Пушкина забавным титулом певца Руслана и Людмилы. Представители другой крайности, слепые поклонники старины, почтенные колпаки, были оскорблены и приведены в ярость появлением «Руслана и Людмилы». Они увидели в ней все, чего в ней нет – чуть не безбожие, и не увидели в ней ничего из того, что именно есть в ней, то есть хороших, звучных стихов, ума, эстетического вкуса и, местами, проблесков поэзии. Перелистуйте от скуки журналы 1820 года, – и вы с трудом поверите, что все это писалось и читалось не более как каких-нибудь двадцать четыре года назад.. И это относится не к одним порицательным, но и к хвальные статьи, которыми наводнили журналы того времени вследствие появления «Руслана и Людмилы». Впрочем, подобное явление столько же понятно, сколько естественно и обыкновенно. Люди, которым не дано способности углубляться в сущность вещей, разделяются на староверов и на верхоглядов. Первые стоят за старое и следуют мудрому правилу: все старое хорошо, потому что оно – старое, а все новое дурно, потому что оно – новое; вторые стоят за новое и следуют мудрому правилу: все новое хорошо, потому что оно – новое, а все старое дурно, потому что оно – старое. Несмотря на всю противоположность этих двух партий, они очень похожи одна на другую, потому что источник их воззрения, при всем своем различии, один и тот же: это – нравственная слепота, препятствующая видеть сущность предмета. Староверы, как люди всегда дряхлые, если не годами, то душою, управляются привычкою, которая заменяет им размышление и избавляет их от всякой умственной работы. Привыкнув с молодости слышать, что такой-то писатель велик, они не заботятся узнать, почему он велик и точно ли он велик, и готовы считать безбожником всякого, кто осмелился бы усомниться в величии этого писателя. Таким-то образом, до появления Пушкина, у наших словесников слыли за великих писателей Кантемир, Ломоносов, Сумароков, Державин, Петров, Херасков, Богданович, – и в их глазах Державин по тому же самому был велик, почему и Сумароков с Херасковым, то есть по неоспоримому праву давности, а совсем не потому, чтоб они умели чувствовать и постигать красоты его поэзии. У кого есть эстетический вкус и кто способен находить красоты в Державине, тот уже не может восхищаться Сумароковым, Херасковым или Петровым, – а словесники, о которых мы говорим, равно благовоели перед Сумароковым и Херасковым, как и перед Державиным; Ломоносова же считали одни наравне с Державиным, другие ставили выше Державина, а третьи оставались в недоумении, кому из них отдать пальму первенства. Ясный знак, что всеми этими мнениями управляла привычка, одна привычка, и больше ничего.. Каково же было дожить этим старым детям привычки до такого страшного поругания, когда общий голос публики нарек знаменитым поэтом какого-то Александра Пушкина, который, по метрическим книгам, жил на свете не более двадцати одного года! К вящему соблазну, реченный Пушкин осмелился писать так, как до него никто не писал на Руси, возымел неслыханную дерзость, или паче отъявленное буйство – итти своим собственным путем, не взяв себе за образец ни одного из законодателей парнасских, великих поэтов иностранных и российских, каковы: Гомер, Пиндар, Вергилий, Гораций, Овидий, Тасс, Мильтон, Корнель, Расин, Буало, Ломоносов, Сумароков, Державин, Петров, Херасков, Дмитриев и прочие. А известно и ведомо было в те времена каждому, даже и не учившемуся в семинарии, что талант без подражания гениям, утвержденным давностию, гибнет втуне жертвою собственного своевольтва. Сам Жуковский, хотя он и крепко насолил словесникам своими балладами и своим романтизмом, сам Жуковский держался Шиллера; а Батюшков именно потому и был отличным поэтом, что подражал Парни и Мильвуа, которые, вместе взятые, не годились ему и в парнасские камердинеры.. По всем этим резонам долой Пушкина! Или он, или мы, а вместе с ним нам тесно на земле!.. И это продолжалось не менее десяти лет сряду. Однакож Пушкин устоял, – и теперь разве только какие-нибудь литературные аномалии, которых одно имя возбуждает смех, вопиют еще нередко против законности прав Пушкина на титул великого поэта; но они противопоставляют ему уже не Сумарокова с Херасковым, а своих собственных, нарочно для этого случая испеченных гениев, которые

...немножечко дерут,  
Зато уж в рот хмельного не берут,  
И все с прекрасным поведением. {2}

Так всегда время побеждает предрассудки людей, и на их развалинах восстанавливает победоносное знамя истины; но тем не менее для будущего времени всегда остается та же работа. В продолжение почти пятнадцати лет все привыкли к имени Пушкина и к его славе, а потому все и поверили, наконец, что Пушкин – великий поэт. Но от этого дело не исправилось для будущих поэтов, и их всегда будут принимать не с одними кликами восторга, но и с свистками и с камнями, до тех пор пока не привыкнут к их именам и их славе. Разве теперь не то же самое сбывается на наших глазах с Гоголем и Лермонтовым, что было с Пушкиным? Есть люди, которые, по какому-то внутреннему бессознательному побуждению, с жадностью читают каждое новое произведение Гоголя и чуть не наизусть знают все прежние его сочинения, а между тем приходят в неприятие негодование, если при них Гоголя называют великим поэтом... Подождите еще несколько – привыкнут, и тогда – горе человеку, который сделает хотя бы дельное замечание не в пользу Гоголя... Такова уж натура этих людей! Они кланяются только победителю и признают власть только того, кого боятся...

Но не лучше староверов и верхогляды, которые рукоплещут только торжеству настоящей минуты и не хотят знать о заслуге, которую сами же прославляли за несколько дней перед тем. Для них хорошо только новое, и в литературе они видят только моду. Новый водевиль, пустой и ничтожный, как все водевили, для них важнее и «Бориса Годунова» Пушкина, и «Горя от ума» Грибоедова, и «Ревизора» Гоголя. Они совсем не то, что люди движения, которые в своей крайности, восторгаясь новым литературным явлением, отрицают всякую заслугу со стороны прежних писателей. Нет, верхогляды совсем не фанатики; они не отрицают важности старых писателей и старых сочинений, а просто не хотят их знать; старо же для них все, что появилось хотя за день до какой-нибудь пошлости, занявшей их сегодня. Каждый из них знает по именам всех замечательных русских поэтов, но ни один из них не читал ни Ломоносова, ни Державина, ни Карамзина, ни Дмитриева, ни Озерова. Они читают только современное, новое, хотя бы оно состояло из сущих пустяков.

Мы не говорим здесь о тех приверженцах старины, которые отстаивают старое против нового по привязанности к школе, к принципам, в которых воспитывались. В людях этого разряда много смешного и жалкого, но много и достойного любви и уважения. Это не дети привычки, о которых мы говорили выше; это – дети известной доктрины, известного учения, известной мысли. Равным образом, и противоположные им поклонники нового, как новой мысли, нового созерцания, нового духа, заслуживают любовь и уважение, несмотря на их крайности и смешные, односторонние убеждения. Фанатизм не есть истина, но без фанатизма нет стремления к истине. Фанатизм – болезнь; но ведь болезнь есть принадлежность только живого, а не мертвого: камень или труп не знают болезни...

Причину энтузиазма, возбужденного «Русланом и Людмилою», было, конечно, и предчувствие нового мира творчества, который открывал Пушкин всеми своими первыми произведениями; но еще более это было просто обольщение невиданного дотоле новинкою. Как бы то ни было, но нельзя не понять и не одобрить такого восторга; русская литература не представляла ничего подобного «Руслану и Людмиле». В этой поэме все было ново: и стих, и поэзия, и шутка, и сказочный характер вместе с серьезными картинами. Но бешеного негодования, возбужденного сказкою Пушкина, нельзя было совсем понять, если б мы не знали о существовании староверов, детей привычки. На что озлились они? На несколько вольные картины в эротическом духе? Но они давно уже знакомы были с ними чрез Державина и в особенности чрез Богдановича... Притом же они никогда не ставили этих вольностей в вину, например, Ариосту, Парни, несмотря на то, что вольности в «Руслане и Людмиле» – сама скромность, само целомудрие в сравнении с вольностями этих писателей. Это были писатели старые; к их славе давно уже все привыкли, а потому им было позволено то, о чем не позволялось и думать молодому поэту. Забавнее всего, что «Душенька» Богдановича была признаваема староверами за произведение классическое, то есть такое, которое уже выдержало пробу времени и высокое достоинство которого уже не подвержено никакому сомнению. Судя по этому, им-то бы и надобно было особенно восхититься поэмою Пушкина, которая во всех отношениях была неизмеримо выше «Душеньки» Богдановича. Стих Богдановича прозаичен, вял, водян, язык обветшалый и, сверх того, донельзя искаженный так называвшимися тогда «пиитическими вольностями»; поэзии почти нисколько; картины

Сочинения Александра Пушкина. Статья шестая. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru бледны, сухи. Словом, несмотря на всю незначительность «Руслана и Людмилы» как художественного произведения, смешно было бы доказывать неизмеримое превосходство этой поэмы перед «Душенькою». Сверх того, она навеяна была на Пушкина Ариостом, и русского в ней, кроме имен, нет ничего; романтизма, столь ненавистного тогдашним словесникам, в ней тоже нет ни искорки; романтизм даже осмеян в ней, и очень мило и остроумно, в забавной, выходке против «Двенадцати спящих дев». Короче: поэма Пушкина должна была бы составить торжество псевдоклассической партии того времени. Но не тут-то было! При втором издании «Руслана и Людмилы», вышедшем в 1828 году, припечатано несколько ругательных статей на эту поэму, написанных в 1820 году; перечтите их – и вы не поверите глазам своим! Для образчика таких критик выписываем отрывок одной из них, напечатанной в «Вестнике Европы» 1820 года (т. СХІ, стр. 216–220){3} по случаю помещенного в «Сыне отечества» отрывка из «Руслана и Людмилы», еще до появления этой поэмы вполне:

«Теперь прошу обратить ваше внимание на новый, ужасный предмет, который, как у Камээнса Мыс бурь, выходит из недр морских и показывается посереде океана российской словесности. Пожалуйте, напечатайте же мое письмо: быть может, люди, которые грозят нашему терпению новым бедствием, опомнятся, рассмеются – и остановят намерение сделаться изобретателями нового рода русских сочинений. {4} Дело вот в чем: вам известно, что мы от предков получили небольшое бедное наследство литературы, т. е. сказки и песни народные. Что об них сказать? Если мы бережем старинные монеты, даже самые безобразные, то не должны ли тщательно хранить и остатки словесности наших предков? Без всякого сомнения! Мы любим воспоминать все относящееся к нашему младенчеству, к тому счастливому времени детства, когда какая-нибудь песня или сказка служила нам невинною забавой и составляла все богатство познаний. Видите сами, что я не прочь от собирания и изыскания русских сказок и песен; но когда узнал я, что наши словесники приняли старинные песни совсем с другой стороны, громко закричали о величии, плавности, силе, красотах, богатстве наших старинных песен, начали переводить их на немецкий язык и наконец так влюбились в сказки и песни, что в стихотворениях XIX века заблистали Ерусланы и Бовы на новый манер, то я вам слуга покорный! Чего доброго ждать от повторения более жалких, нежели смешных лепетаний?.. чего ждать, когда наши поэты начинают пародировать киршу Данилова? Возможно ли просвещенному или хоть немного сведущему человеку терпеть, когда ему предлагают новую поэму, писанную в подражание Еруслану Лазаревичу? Извольте же заглянуть в 15 и 16 №№ Сына отечества. Там неизвестный пиит на образчик выставляет нам отрывок из поэмы своей: Людмила и Руслан (не Еруслан ли?). Не знаю, что будет содержать целая поэма, но образчик хоть кого выведет из терпения. Пиит оживляет мужичка сам с ноть, а борода с локоть, придает еще ему бесконечные усы («Сын отечества», стр. 121), показывает нам ведьму, шапочку-невидимку и проч. Но вот что всего драгоценнее: Руслан наезжает в поле на побитую рать, видит богатырскую голову, под которой лежит меч-кладенец; голова с ним разглагольствует, сражается... Живо помню, как все это, бывало, я слушал от няньки моей; теперь на старости сподобился вновь то же услышать от поэтов нынешнего времени... Для большей точности или чтобы лучше выразить всю прелесть старинного нашего песнословия, поэт и в выражениях уподобился Ерусланову рассказчику, например:

...шутите вы со мною –  
Всех удавлю вас бороною!..  
Каково?

Объехал голову кругом  
И стал пред носом молчаливо,  
Щекотит ноздри копием...  
Картина, достойная Кирши Данилова! Далее чихнула голова, а за него и эхо чихает...  
Вот что говорит рыцарь:

Я еду, еду, не свищу,  
А как наеду, не спущу...  
Потом рыцарь ударяет голову в щеку тяжелой рукавицей... Но увольте меня от подробного описания и позвольте спросить: если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бороною, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: здорово, ребята! Неужели бы стали таким проказником любоваться! Бога ради, позвольте мне, старику, сказать публике, посредством вашего журнала, чтобы она каждый раз жмурила глаза при

Сочинения Александра Пушкина. Статья шестая. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru  
появлении подобных странностей. Зачем допускать, чтобы плоские шутки старины  
снова появлялись между нами? Шутка грубая, неодобряемая вкусом просвещенным,  
отвратительна, а нисколько не смешна и не забавна. Dixi.[1]  
Житель Бутырской слободы».

Итак, ясно, что бутырского критика оскорбил прежде всего сказочный характер поэмы неизвестного пииты, то есть Пушкина. Но какой же, если не сказочный, характер Ариостова «Orlando furioso»[2]? Правда, рыцарский сказочный мир заключает в себе несравненно больше поэзии и занимательности, чем бедный мир русских сказок; но что касается до сказочных нелепостей, столь оскорбивших вкус бутырского критика, – их довольно в поэме Ариоста, и они, право, стоят мужика сам с ногой, а борода с локоть или головы богатыря. Но то, видите ли, Ариост, писатель классический, которого слава уже утверждена была с лишком двумя столетиями: стало быть, к нему и к его славе уже привыкли... Вольно же было Пушкину сочинить новую поэму, которой не было еще и года от роду, как ее уж в пух разругали... Притом же Ариоста сам Вольтер объявил величайшим из новейших поэтов; стало быть, после такого авторитета, как авторитет Вольтера, смело можно было хвалить Ариоста, не боясь попасться впросак. Ведь литературные авторитеты, подобно Корану, на то и существуют, чтоб люди могли быть умны без ума, сведущи без учения, знаючи без труда и размышления и безошибочно правы без помощи Здравого смысла. Вот другое дело, если б кто из признанных авторитетов, например, Ломоносов или Поповский, могли объявить свое мнение в пользу «Руслана и Людмилы», – тогда все единодушно признали бы эту сказку гениальным произведением! Хорошая порука – важное дело, и чужой ум – всегда спасение для тех, у кого нет своего... Что бутырский критик нашел пошлыми не только выражения: «удавить бородою, стать перед носом, щекотать ноздри копнем и еду, не свищу, а наеду, не спущу, но и умирающий луч солнца»{5} это опять происходило от привычки к облизанным прозаическим общим местам предшествовавшей Пушкину поэзии и от непривычки к благородной простоте и близости к натуре. Все привычка! Один бутырский критик до того ожесточился против «Руслана и Людмилы», что рифмы языком и копием называл мужицкими... Видите ли: строго придирались даже к версификации Пушкина они, эти безусловные поклонники всех русских поэтов до Пушкина, которые изо всех сил и со всевозможным усердием уродовали русский язык незаконными усечениями, насилием грамматики и разными «пиитическими вольностями». Каков бы ни был стих в «Руслане и Людмиле», но, в сравнении со стихом «Душеньки» Богдановича, сказок Дмитриева, «Странствователя и домоседа» Батюшкова и даже «Двенадцати спящих дев» Жуковского, он – само изящество, сама поэзия. Оскорбленная привычка этого не замечала, а если замечала, то для того только, чтоб, по излишней привязчивости, ставить молодому поэту в непростительную вину то, что считала чуть не достоинством в старых. Как человек с огромным талантом, эту привязчивость возбудил к себе и Грибоедов. При «Вестнике Европы» один бутырский критик состоял в должности явного зоила всех новых ярких талантов; поэтому «Горе от ума» возбудило всю желчь его. Там, между прочим, было сказано по поводу отрывка из «Горя от ума», помещенного в альманахе «Талия»: «Смеем надеяться, что все, читавшие отрывок, позволят нам, от лица всех, просить г. Грибоедова издать всю комедию». Бутырский критик «Вестника Европы», указав на эти слова, восклицает: «Напротив, лучше попросить автора не издавать ее, пока не переменит главного характера и не исправит слога» («Вестник Европы», 1825, № 6, стр. 115). Мы указываем на все эти диковинки, разумеется, не для того, чтоб доказать их чудовищную нелепость: игра не стоила бы свеч, да и смешно было бы снова позывать к суду людей, и без того уже давно проигравших тяжбу во всех инстанциях здравого смысла и вкуса. Нет, мы хотели только охарактеризовать время и нравы, которые застал Пушкин на Руси при своем появлении на поэтическом поприще, а вместе с тем и показать, какую роль чудовище-привычка играет там, где бы должны были играть роль только ум и вкус. Оставим же в стороне эти допотопные ископаемые древности, заключающиеся в затверделых пластах «Вестника Европы», и обратимся к «Руслану и Людмиле».

Бутырские критики, как мы видели, особенно оскорбились в «Руслане и Людмиле» тем, что показалось им в этой поэме колоритом местности и современности в отношении к ее содержанию. Но именно этого-то совсем и нет в сказке Пушкина: она столько же русская, сколько и немецкая или китайская. Кирша Данилов не виноват в ней ни душою, ни телом, ибо в самой худшей из собранных им русских песен больше русского духа, чем во всей поэме Пушкина, хотя он в своем поэтическом прологе к ней и сказал: «Там русский дух, там Русью пахнет». Вероятно, Пушкин не знал сборника Кирши Данилова в то время, когда писал «Руслана и Людмилу»: иначе он не мог бы не увлечься духом народно-русской поэзии, и тогда его поэма имела бы, по крайней мере, достоинство сказки в русско-народном духе и притом написанной

Сочинения Александра Пушкина. Статья шестая. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru прекрасными стихами. Но в ней русского – одни только имена, да и то не все. И этого руссизма нет так же и в содержании, как и в выражении поэмы Пушкина. Очевидно, что она – плод чуждого влияния, и скорее пародия на Ариоста, чем подражание ему, потому что наделать немецких рыцарей из русских богатырей и витязей – значит исказить равно и немецкую и русскую действительность. Нам так мало осталось памятников от доисторических времен Руси, что Владимир красно солнышко столько же для нас миф, сколько Владимир, просветитель Руси – историческое лицо; а сказки Кирши Данилова, в которых является действующим лицом языческий Владимир, явно сложены в позднейшие времена. И потому Пушкин от предания только и воспользовался, что словом «солнце», приложенным к имени Владимира. Пожива небогатая. Во всем остальном его Владимир-солнце – пародия на какого-нибудь Карла Великого. Таковы же и Руслан, и Рогдай, и Фарлаф: действительность их, историческая и поэтическая, такой же точно пробы, как и действительность Финна, Наины, богатырской головы и Черномора. Пушкин с особенною радостью ухватился было за так называемого «вещего Баяна», поняв слово «баян» как нарицательное и равнозначительное словам: скальд, бард, менестрель, трубадур, миннезингер. В этом он разделял заблуждение всех наших словесников, которые, нашед в «Слове о пълку Игореве» вещего баяна, соловья старого времени, который, «аще кому хотяше песнь творите, то растекашется мыслию по древу, серым вълком по земли, шизым орлом под облакы», – заключили из этого, что Гомеры древней Руси назывались баянами. Что в древней Руси были свои песельники, сказочники, балагуры и прибауточники, так же как и теперь в простом народе бывают подобные, – в этом нет сомнения; но, по смыслу текста «Слова», ясно видно, что имя Баяна есть собственное, а отнюдь не нарицательное. Да и Баян «Слова» так неопределен и загадочен, что на нем нельзя построить даже и остроумных догадок, на которые так щедрый досужие антиквари, а тем менее можно заключить из него что-нибудь достоверное. И потому весь баян Пушкина – ни более, ни менее, как риторическая фраза. О прологе к «Руслану и Людмиле» действительно можно сказать: «Тут русский дух, тут Русью пахнет»; но этот пролог явился только при втором издании поэмы, то есть через восемь лет после первого ее издания, стало быть, тогда, как Пушкин уже настоящим образом вник в дух народной русской поэзии. Первые семнадцать стихов, которыми начинается «Руслан и Людмила», от стиха: «Дела давно минувших дней» до стиха. – «И низко кланялись гостям», действительно пахнут Русью; но ими начинается и ими же и оканчивается русский дух всей этой поэмы; больше в ней его слухом не слышать, видом не видеть. Мы даже подозреваем, что не были ль эти семнадцать счастливых стихов поводом к присочинению к ним всей поэмы.. Как бы то ни было, только поэма эта – шалость сильного, еще незрелого таланта, который, кипя жаждою деятельности, схватился без разбора за первый предмет, мысль о котором как-то промелькнула перед ним в веселый час. Весь тон поэмы – шуточный. Поэт не принимает никакого участия в созданных его фантазией лицах. Он просто – чертил арабески и потешался их забавною странностию. Оттого, как сам Пушкин справедливо замечал впоследствии, она холодна. [3] В самом деле, в ней много грации, игривости, остроумия; есть живость, движение и еще больше блеска, но очень мало жара. В эпизоде о Финне проглядывает чувство; оно вспыхивает на минуту в воззвании Руслана к усеянному костями полю, но это воззвание оканчивается несколько риторически. Все остальное холодно.

Вообще «Руслан и Людмила» для двадцатых годов имела то же самое значение, какое «Душенька» Богдановича для семидесятых годов. Разумеется, велик перевес на стороне поэмы Пушкина и в отношении к превосходству времени и к превосходству таланта. Но наше время далеко впереди, обеих этих эпох русской литературы, и потому если «Душеньку» теперь нет никакой возможности прочесть от начала до конца, по доброй воле, а не по нужде, которая может заставить прочесть и «Тилемахиду», то «Руслана и Людмилу» можно только перелистывать от нечего делать, но уже нельзя читать, как что-нибудь дельное. Ее литературно-историческое значение гораздо важнее значения художественного. По своему содержанию и отделке она принадлежит к числу переходных пьес Пушкина, которых характер составляет подновленный классицизм: в них Пушкин является улучшенным, усовершенствованным Батюшковым. В «Руслане и Людмиле», как мы уже сказали выше, нет ни признака романтизма, даже ошутителен недостаток поэзии, несмотря на все изящество выражения и всю прелесть стиха, неслыханные до того времени. Скажем больше: даже со стороны формы, как ни много она выше обветшалых форм прежней поэзии, есть звенья, соединяющие «Руслана и Людмилу» с прежнею школою поэзии: мы разумеем здесь употребление слов: брада, глава и произвольное употребление усеченных прилагательных, которых в поэме Пушкина найдется больше десятка. Словом, если б не недостаток самомыслительности и не избыток привычки, так называемые классики того времени должны были бы торжествовать, как свою

Сочинения Александра Пушкина. Статья шестая. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru победу над так называвшимися тогда романтиками, появление «Руслана и Людмилы», – на Пушкине сосредоточить все надежды своей партии, а истинного представителя романтизма, следовательно, самого опасного их врага, видеть в Жуковском. В самом деле, некоторые из них были как будто близки к этому взгляду. В «Вестнике Европы» 1824 года один классик рассердился за то, что г. Верстовский, положивший на музыку «Черную шаль» Пушкина, назвал ее кантатою.

«Почему (говорит бутырский классик) г. Верстовский возвел простую песню на степень кантаты? Такого ли содержания бывают кантаты собственно так называемые? Такими ли видим их у Драйдена, у Жан-Батиста Руссо и у других поэтов знаменитых? (Хороши знаменитости – Драйден и Жан-Батист Руссо!) Истошив средства свои на страсти, бунтующие в душе безвестного человека, что употребит он, когда нужно будет силою музыки возвысить значительность слов в тех кантатах, где исторические или мифологические, во многих отношениях нам известные и для всех просвещенных людей занимательные лица страдают или торжествуют? В песне г-на Пушкина представляется нам какой-то молдаванин, убивший какую-то любимую им красавицу, которую соблазнил какой-то армянин. Достойно ли это того, чтоб искусный композитор изыскивал средства потрясать сердца слушателей, чтоб для песни тратил сокровища музыки? Не значит ли это воздвигнуть огромный пьедестал для маленькой красивой куклы, хотя бы она была сделана на Севрской фабрике? Угадываю причины, – побудившие г. Верстовского к сему подвигу, и знаю наперед один из ответов: «Г. А. Пушкин принадлежит к числу первоклассных поэтов наших». Что касается до стихотворства, я сам отдаю ему совершенную справедливость; стихи его отменно гладки, плавны, чисты; не знаю, кого из наших сравнить с ним в искусстве стопосложения; скажу более: г. Пушкин не охотник щеголять эпитетами, не бросается ни в сентиментальность, ни в таинственность, ни в надутость, ни в пустословие; он жив и стремителен в рассказе; употребляет слова в надлежащем их смысле; наблюдает умную соразмерность в разделении мыслей: все это составляет внешнюю (?) красоту его стихотворений. Где же однако те качества, которые, по словам Горация, составляют поэта? где *mens divinior*? где *os magna sonaturum*?» (№ 1, стр. 70 и 71).

Замечаете ли, что наш бутырский критик видел кое-что в Пушкине, и если не увидел всего, ему помешала привычка. Пушкин не любил щеголять эпитетами, не бросался ни в сентиментальность, ни в таинственность, ни в надутость, ни в пустословие; он жив и стремителен в рассказе, употребляет слова в надлежащем их смысле, наблюдает умную соразмерность в разделении мыслей; все это действительно составляло неотъемлемые качества пушкинской поэзии, и качества великие; но – видите ли – по мнению бутырского классика, это не больше, как внешняя (!) красота стихотворений Пушкина, потому что где же в них *mens divinior* (божественное безумие, исступление, восторг), где *os magna sonaturum*? А что такое разумели под этим наши псевдоклассические критики? Вот что:

...Кто завесу мне вечности расторг?  
Я вижу молний блеск! Я слышу с горня света  
И то, и то!..

Прочтите всю превосходную сатиру Дмитриева «Чужой толк» – и вы еще лучше поймете, что наши классики разумели под *mens divinior*. Хотя многие из первых произведений Пушкина (как, например, Черная шаль, Наполеон, Андрей Шенье) не чужды декламации и риторической напряженности, но для наших классиков этого было мало; они не могли увидеть в Пушкине *mens divinior*, – так привыкли они к напыщенной шумихе одопений своего времени! Посмотрите, из чего хлопотали бедняжки: из названий, из слов – ода, кантата, песня и т. п. Мы сами слышали однажды, как глава классических критиков, почтенный, умный и даровитый Мерзляков, сказал с кафедры: «Пушкин пишет хорошо, но, бога ради, не называйте его сочинений поэмами!» Под словом поэма классики привыкли видеть что-то чрезвычайно важное. С кантатами их познакомил Драйден и Жан-Батист Руссо: стало быть, то уже не кантата, что не было рабской копией с какой-нибудь кантаты этих двух риторов-стихотворцев. И каким образом страсти безвестного человека могли быть предметом такого высокого рода поэзии, как кантата? – с них было бы за глаза довольно и нежной песенки, вроде Стонет сизый голубочек: ведь в залы входят только господа, а слуги остаются в передней! В то время высокий и священный сан человека не признавался ни за что, и человек считался ниже не только титулярного советника, но и простого канцеляриста. Как же можно было видеть равнодушно, что талантливый композитор тратит сокровища музыки на чувство какого-то армянина.

А между тем бутырские классики были близки и к тому, чтобы увидеть в Жуковском истинного своего врага, как это можно заметить из следующих строк:

«Будучи одним из почитателей (но не слепых и раболепных) таланта нашего отличного стихотворца В. А. Жуковского, я так же, как и прочие мои соотечественники, восхищался многими прекрасными его произведениями. Так, м.<илостивый> г.<осударь> м.<ой> и я, хотя не имею чести быть орлиной породы, смел прямо смотреть на солнце, любовался блеском его и согревался живительною его теплотою до тех пор, пока западные, чужеземные туманы и мраки не обложили его и не заслонили свет его от слабых глаз моих, слабых потому, что не могут видеть света сквозь мрак и туман. Говоря языком общепонятным, я с восхищением читал и перечитывал «Певца во стане русских воинов», перевод Греевой элегии, «Людмилу», «Светлану», «Эолову арфу», многие места из «Двенадцати спящих дев» и разные другие стихотворения г-на Жуковского. Но с некоторого времени, когда имя его стало появляться под стихотворениями, в которых все немецкое, кроме букв и слов, – восторг и удивление во мне уступили место сожалению о том, что стихотворец с такими превосходными дарованиями оставил красоты и приличия языка; {б} оставил те средства, которыми он усыновил русским «Людмилу», «Ахилла» и столько других произведений словесности чужестранной... оставил, и для чего же? – чтобы ввести в наш язык обороты, блестящие ума и беспонятную выпренность нынешних немцев стихотворцев-мистиков! Если первые баллады Жуковского породили толпу подражателей, которые только жалким образом его передразнивали, не умея подражать красотам, рассыпанным щедрою рукою в прежних его произведениях, – то мудрено ли, что теперь люди с превосходными дарованиями, или вовсе и без дарований, с жадностью подражают в нем тому, что находят по своим силам?.. Истинный талант должен принадлежать своему отечеству; человек, одаренный таковым талантом, если избирает поприщем своим словесность, должен возвысить славу природного языка своего, раскрыть его сокровища и обогатить оборотами и выражениями, ему свойственными; гений имеет даже право вводить новые, но не иноплеменные, и никогда не выпускать из виду свойства и приличия языка отечественного» («Вестник Европы», 1821, т. СХVII, стр. 19–21).

Но и тут, ясно, привычка помешала увидеть дело так, как оно было: бутырский классик не видал романтизма в самых ультраромантических пьесах Жуковского, каковы: Людмила, Светлана, Эолова арфа, Двенадцать спящих дев, но увидел его в позднейших, лучших и по содержанию, и по форме, произведениях Жуковского. Подлинно, в младенческое время литературы и старцы поневоле бывают детьми...

Восторги, возбужденные «Русланом и Людмилою», равно как и необыкновенный успех этой поэмы, несмотря на всю детскость ее достоинств и недостатков, гораздо естественнее и понятнее, чем яростные нападки на нее бутырских классиков. Не говоря уже о том, что всякая удачная новость ослепляет глаза, в «Руслане и Людмиле» русская поэзия действительно сделала огромный шаг вперед, особенно со стороны технической. Все восхищались ее прекрасным языком, стихами, всегда легкими и звучными, а иногда и истинно поэтическими, грациозною шуткою, рассказом плавным, увлекательным, живым и быстрым, всю эту игривую затейливость, шаловливость и причудливость арабесков в характерах и событиях, и никому не приходило в голову требовать от этой поэмы народности, к которой обязывалось ее заглавие и самое содержание, естественности, поэтической мысли, вполне художественной отделки. Образца для нее не было на русском языке, а если и были прежде попытки в этом роде, то такие ничтожные, что сравнение с ними не могло бы сбавить цены с «Руслана и Людмилы». У кого из прежних поэтов можно было найти стихи, подобные, например, этим:

И вот невесту молодую  
Ведут на брачную постель;  
Огни погасли... и ночную  
Лампаду зажигает Лель.  
Свершились милые надежды,  
Любви готовятся дары;  
Падут ревнивые одежды  
На цареградские ковры...  
Вы слышите ль влюбленный шопот  
И поцелуев сладкий звук,  
И прерывающийся ропот  
Последней робости?..  
Или:

И слышно было, что Рогдая  
Тех вод русалка молодая  
На хладны перси приняла,  
И жадно витязя лобзая,  
На дно со смехом увлекла;  
И долго после, ночью темной.  
Бродя близ тихих берегов,  
Богатыря призрак огромный  
Пугал пустынных рыбаков.  
Или:

Но прежде юношу ведут  
К великолепной русской бане.  
Уж волны дымные текут  
В ее серебряные чаны,  
И брызжут хладные фонтаны;  
Разостлан роскошью ковер;  
На нем усталый хан ложится;  
Прозрачный пар над ним клубится;  
Потупя неги полный взор,  
Прелестные, полунагие,  
В заботе нежной и немой,  
Вкруг хана девы молодые  
Теснятся резвою толпой.  
Над рыцарем иная машет  
Ветвями молодых берез,  
И жар от них душистый пашет;  
Другая соком вешних роз  
Устала члены прохлаждает  
И в ароматах потопляет  
Темнокудрявые волосы.  
Восторгом витязь упоенный  
Уже забыл Людмилы пленной  
Недавно милые красы;  
Томится сладостным желаньем;  
Бродящий взор его блещит,  
И, полный страстным ожиданьем,  
Он тает сердцем, он горит.

Конечно, теперь смешно заблуждение людей того времени, которые в «Руслане и Людмиле» думали видеть поэтическое воссоздание народно-русского сказочного мира; но в двадцатых годах, право, немудрено было, в первый раз читая такие стихи, до того увлечься ими, чтоб в описании какой-то небывало фантастической бани увидеть великолепную русскую баню. Кому неизвестно великолепие наших бань, где в таком употреблении сок весенних роз, а ветви молодых берез прозаически называются венниками?..

Эпилог к «Руслану и Людмиле» исполнен элегической поэзии; но, как и пролог к этой же поэме, он, если не ошибаемся, был написан после нее; при ней же явился только во втором ее издании, в 1828 году.

Потому ли, что изумительные успехи Пушкина и быстрый ход его распространяющейся славы слишком озадачили бутырских критиков и классиков, или потому, что они уже сами начали привыкать к поэзии Пушкина, – только против «Кавказского пленника» уже почти совсем не было воплей, а напротив, ему раздавались везде только хвалебные гимны. Даже в «Вестнике Европы» 1823 года была помещена похвальная критика этой поэме (вышедшей в 1822 году). Эта критика особенно замечательна и в свое время весьма прославилась тем, что ее сочинитель, при всем своем старании и усердии, никак не мог догадаться, что сделалось с черкешенкой и что означают эти прекрасные поэтические стихи:

Вдруг волны глухо зашумели,  
И слышен отдаленный стон...  
На дикий брег выходит он,  
Глядит назад... брега яснили  
И опененные белели; Но нет

Ни у берегов, ни под горой...  
Все мертво... на берегах уснувших  
Лишь ветра слышен легкий звук,  
И при луне в волнах плеснувших  
Струистый исчезает круг...

Такова была тогда привычка к прозаичности прежней поэзии, что слишком поэтический и по тому уже самому слишком ясный оборот назывался темным и неопределенным...{7} Да, Пушкину предстоял подвиг: воспитать и развить в русском обществе чувство изящного, способность понимать искусство, – и он вполне совершил этот великий подвиг!..

«Кавказский пленник» был принят публикою еще с большим восторгом, чем «Руслан и Людмила», и, надо сказать, эта маленькая поэма вполне достойна была того приема, которым ее встретили. В ней Пушкин явился вполне самим собою и вместе с тем вполне представителем своей эпохи: «Кавказский пленник» насквозь проникнут ее пафосом. Впрочем, пафос этой поэмы двойственный: поэт был явно увлечен двумя предметами – поэтической жизнью диких и вольных горцев, и потом – элегическим идеалом души, разочарованной жизнью. Изображение того и другого слилось у него в одну роскошно поэтическую картину. Грандиозный образ Кавказа с его воинственными жителями в первый раз был воспроизведен русскою поэзию, – и только в поэме Пушкина в первый раз русское общество познакомилось с Кавказом, давно уже знакомым России по оружию. Мы говорим – в первый раз: ибо каких-нибудь двух строк, довольно прозаических, посвященных Державинному изображению Кавказа, и отрывка из послания Жуковского к Воейкову, посвященного тоже довольно прозаическому описанию (в стихах) Кавказа, слишком недостаточно для того, чтоб получить какое-нибудь, хотя сколько-нибудь приблизительное понятие об этой поэтической стороне. Мы верим, что Пушкин с добрым намерением выписал в примечаниях к своей поэме стихи Державина и Жуковского и с полною искренностью, от чистого сердца, хвалит их; но тем не менее он оказал им через это слишком плохую услугу: ибо после его исполненных творческой жизни картин Кавказа никто не поверит, чтоб в тех выписках шло дело о том же предмете... Мы не будем выписывать из поэмы Пушкина картин Кавказа и горцев: кто не знает их наизусть? Скажем только, что, несмотря на всю незрелость таланта, которая так часто проглядывает в «Кавказском пленнике», несмотря на слишком юношеское одушевление зрелищем гор и жизнь их обитателей, многие картины Кавказа в этой поэме и теперь еще не потеряли своей поэтической ценности. Принимаясь за «Кавказского пленника» с гордым намерением слегка перелистовать его, вы незаметно увлекаетесь им, перечитываете его до конца и говорите: «Все это юно, незрело, и однакож так хорошо!» Какое же действие должны были произвести на русскую публику эти живые, яркие, великолепно роскошные картины Кавказа при первом появлении в свет поэмы! С тех пор, с легкой руки Пушкина, Кавказ сделался для русских заветною странюю не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзии, странюю кипучей жизни и смелых мечтаний! Муза Пушкина как бы осветила давно уже на деле существовавшее родство России с этим краем, купленным драгоценною кровию сынов ее и подвигами ее героев. И Кавказ – эта колыбель поэзии Пушкина – сделался потом и колыбелью поэзии Лермонтова...

Как истинный поэт, Пушкин не мог описаний Кавказа вместить в свою поэму, как эпизод кстати: это было бы слишком дидактически, а следовательно, и прозаически, и потому он тесно связал свои живые картины Кавказа с действием поэмы. Он рисует их не от себя, но передает их как впечатления и наблюдения пленника – героя поэмы, и оттого они дышат особенною жизнью, как будто сам читатель видит их собственными глазами на самом месте. Кто был на Кавказе, тот не мог не удивляться верности картин Пушкина:{8} взгляните, хотя с возвышенностей, при которых стоит Пятигорск, на отдаленную цепь гор, – и вы невольно повторите мысленно эти стихи, о которых вам, может быть, не случалось вспоминать целые годы:

Великолепные картины!  
Престолы вечные снегов,  
Очам казались их вершины  
Недвижной цепью облаков,  
И в их кругу колосс двуглавый,  
В венце блистая ледяном,  
Эльбрус огромный, величавый,  
Белел на небе голубом.

Сочинения Александра Пушкина. Статья шестая. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru  
Описания дикой воли, разбойнического героизма и домашней жизни горцев дышат чертами ярко верными. Но черкешенка, особенно связывающая собою обе половины поэмы, есть лицо совершенно идеальное и только внешним образом верное действительности. В изображении черкешенки особенно выказалась вся незрелость, вся юность таланта Пушкина в то время. Самое положение, в которое поставил поэт два главные лица своей поэмы, черкешенку и пленника, – это положение, наиболее пленившее публику, отзывается мелодрамою и, может быть, по тому самому так сильно увлекло самого молодого поэта. Но – такова сила истинного таланта! – при всей театральности положения, на котором завязан узел поэмы, при всей его бесцветности в отношении к действительности, – в речах черкешенки и пленника столько элегической истины чувства, столько сердечности, столько страсти и страдания, что ничем нельзя оградиться от их обаятельного увлечения, при самом ясном сознании в то же время, что на всем этом лежит печать какой-то детскости. С особенною силою действует на душу читателя сцена освобождения пленника черкешенкою и эти стихи –

Пилу дрожащей взяв рукой,  
К его ногам она склонилась:  
Визжит железо под пилой.  
Слеза невольная скатилась –  
И цепь распалась и гремит...

Чувство свободы борется в этой сцене с грустью по судьбе черкешенки: вы понимаете, что, исполненный этого чувства свободы, пленник не мог не предложить своей освободительнице того, в чем прежде так основательно и благородно отказывал ей; но вы понимаете также, что это только порыв, и что черкешенка, наученная страданием, не могла увлечься этим порывом. И, несмотря на всю грусть вашу о погибшей красавице, мученическая смерть которой нарисована так поэтически, вы чувствуете, что грудь ваша дышит свободнее по мере того как пленнику, в тумане, начинают сверкать русские штыки, а до его слуха доходят оклики сторожевых казаков...

Но что же такое этот пленник? Это вторая половина двойственного содержания и двойственного пафоса поэмы; этому лицу поэма обязана своим успехом не меньше, если не больше, чем ярким картинам Кавказа. Пленник, это – герой того времени. Тогдашние критики справедливо находили в этом лице и неопределенность, и противоречивость с самим собою, которые делали его как бы безличным, но они не поняли, что через это – то именно характер пленника и возбудил собою такой восторг в публике. Молодые люди особенно были восхищены им, потому что каждый видел в нем, более или менее, свое собственное отражение. Эта тоска юношей по своей утраченной юности, это разочарование, которому не предшествовали никакие очарования, эта апатия души во время ее сильнейшей деятельности, это кипение крови при душевном холоде, это чувство пресыщения, последовавшее не за роскошным пиром жизни, а сменившее собою голод и жажду, эта жажда деятельности, проявляющаяся в совершенном бездействии и апатической лени, словом, эта старость прежде юности, эта дряхлость прежде силы, все это – черты героев нашего времени со времен Пушкина. {9} Но не Пушкин родил или выдумал их: он только первый указал на них, потому что они уже начали показываться еще до него, а при нем их было уже много. Они – не случайное, но необходимое, хотя и печальное явление. Почва этих жалких пустоцветов не поэзия Пушкина или чья бы то ни была, но общество. Эта оттого, что общество живет и развивается, как всякий индивидуум: у него есть свои эпохи младенчества, отрочества, юношества, возмужалости, а иногда и старости. Поэзия русская до Пушкина была отголоском, выражением младенчества русского общества. И потому это была поэзия до наивности невинная: она гремела одами на иллюминации, писала нежные стишки к милым и была совершенно счастлива этими идиллическими занятиями. Действительностию ее была – мечта, и потому ее действительность была самая аркадская, в которой невинное бляение барашков, воркование голубков, поцелуи пастушков и пастушек и сладкие слезы чувствительных душ прерывались только не менее невинными возгласами: пою или: о ты, священна добродетель! и т. п. Даже романтизм того времени был так наивно невинен, что искал эффектов на кладбищах и пересказывал с восторгом старые бабы сказки о мертвецах, оборотнях, ведьмах, колдуньях, о деве, за ропот на судьбу заживо увезенной мертвым женихом в могилу, и тому подобные невинные пустяки. В трагедии тогдашняя поэзия очень пристойно выплясывала чинный менуэт, делая из Донского какого-то крикуна в римской тоге. В комедии она преследовала именно те пороки и недостатки общества, которых в обществе не было, и не дотрагивалась именно до тех, которыми оно было полно, – так что комедии Фонвизина являлись в этом отношении какими-то исключениями из общего правила. В сатире тогдашняя поэзия

Сочинения Александра Пушкина. Статья шестая. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru нападала скорее на пороки древнегреческого и римского или старофранцузского общества, чем русского. Невинность была всесовершеннейшая, а оттого, разумеется, эта поэзия была и нравственной в высшей степени. Общество пило, ело, веселилось. По рассказам наших стариков, тогда не по-нынешнему умели веселиться, и перед неутомимыми плясунами тогдашнего времени самые задорные нынешние танцоры – просто старики, которые похоронным маршем выступают там, где бы надо было вывертывать ногами и выстукивать каблуками так, чтоб пол трещал и окна дрожали. Быть безусловно счастливым, это – привилегия младенчества. Младенец играет жизнью – плещется в ее светлой волне и безотчетно любуется брызгами, которые производят его резвые движения; он всем восхищается, все находит лучшим, нежели оно есть на самом деле, и если ему скоро надоедает одна игрушка, то так же скоро пленяет его другая. Не таков уже возраст отрочества – переход от детства к юношеству. Правда, и тут человек все еще играет в игрушки, но уж не те его игрушки; меняя их одну на другую, он уже сравнивает их с своим идеалом, и ему грустно, когда он не находит осуществления своего неопределенного желания, в котором сам себе не может дать отчета. Лишение игрушки для него горе, ибо оно есть уже утрата надежды, потеря сердца. С юношеством эта жизнь сердца и ума вспыхивает полным пламенем, и страсти вступают в борьбу с сомнением. Тут много радостей, но столько же, если не больше, и горя: ибо полное счастье только в непосредственности бытия; отрочество есть начало пробуждения, а юность полное пробуждение сознания, корень которого всегда горек; сладкие же плоды его – для будущих поколений, как богатое и выстраданное наследие от предков потомкам..

«Кавказский пленник» Пушкина застал общество в периоде его отрочества и почти на переходе из отрочества в юношество. Главное лицо его поэмы было полным выражением этого состояния общества. И Пушкин был сам этим пленником, но только на ту пору, пока писал его. Осуществить в творческом произведении идеал, мучивший поэта, как его собственный недуг, – для поэта значит навсегда освободиться от него. Это же лицо является и в следующих поэмах Пушкина, но уже не таким, как в «Кавказском пленнике»: следя за ним, вы беспрестанно застаёте его в новом моменте развития и видите, что оно движется, идет вперед, делается сознательнее, а потому и интереснее для вас. Тем-то Пушкин как великий поэт и отличался от толпы своих подражателей, что, не изменяя сущности своего направления, всегда крепко держась действительности, которой был органом, всегда говорил новое, между тем как его подражатели и теперь еще хриплыми голосами допевают свои старые и всем надоевшие песни. В этом отношении «Кавказский пленник» есть поэма историческая. Читая ее, вы чувствуете, что она могла быть написана только в известное время, и, под этим условием, она всегда будет казаться прекрасною. Если б в наше время даровитый поэт написал поэму в духе и тоне «Кавказского пленника», – она была бы безусловно ничтожнейшим произведением, хотя бы в художественном отношении и далеко превосходила пушкинского «Кавказского пленника», который, в сравнении с нею, все бы остался так же хорош, как и без нее.

Лучшая критика, какая когда-либо была написана на «Кавказского пленника», принадлежит самому же Пушкину. В статье его «Путешествие в Арзрум» находятся следующие слова, написанные им через семь лет после издания «Кавказского пленника»: «Здесь нашел я измаранный список Кавказского пленника и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно». Не знаем, к какому времени относится следующее суждение Пушкина о «Кавказском пленнике», но оно очень интересно, как факт, доказывающий, как смело умел Пушкин смотреть на свои произведения: «Кавказский пленник – первый неудачный опыт характера, с которым я насилу, сладил; он был принят лучше всего, что я ни написал, благодаря некоторым элегическим и описательным стихам. Но зато Н. и А. Р. и я, мы вдоволь над ним посмеялись» (т. XI, сто. 227).{10} Слова: характер, с которым я насилу сладил, особенно замечательны: они показывают, что поэт силился изобразить вне себя (объективировать) настоящее состояние своего духа и по тому самому не мог вполне этого сделать.

В художественном отношении «Кавказский пленник» принадлежит к числу тех произведений Пушкина, в которых он является еще учеником, а не мастером поэзии. Стихи прекрасны, исполнены жизни, движения, много поэзии; но еще нет художества. Содержание всегда бывает соответственно форме, и наоборот: недостатки одного тесно связаны с недостатками другой, и наоборот. В отделке стихов «Кавказского пленника» заметно еще, хотя и меньше, чем в «Руслане и Людмиле», влияние старой школы. Случаются неточные выражения, как, например, в стихе: «Удары шашек их жестоких» или «Где обнял грозное страданье»; попадают слова: глава, младой,

Сочинения Александра Пушкина. Статья шестая. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru  
власы. Вступление несколько тяжеловато, как и в «Бахчисарайском фонтане», но  
слабых стихов вообще мало, а оборотов прозаических почти совсем нет; поэзия  
выражения почти везде необыкновенно богата. Как факт для сравнения поэзии  
Пушкина вообще с предшествовавшей ему поэзией, укажем на то, как поэтически  
выражено в «Кавказском пленнике» самое прозаическое понятие, что черкешенка  
учила пленника языку ее родины:

С неясной речью сливает  
Очей и знаков разговор;  
Поет ему и песни гор,  
И песни Грузии счастливой,  
И памяти нетерпеливой  
Передает язык чужой.

Некоторые выражения исполнены мысли; и многие места отличаются поразительную  
верностью действительности времени, которого певцом и выразителем был поэт.  
Пример того и другого представляют эти прекрасные стихи:

Людей и свет изведаль он,  
И знал неверной жизни цену.  
В сердцах друзей нашел измену,  
В мечтах любви безумный сон,  
Наскуча жертвой быть привычной  
Давно презренной суеты,  
И неприязни двуязычной,  
И простодушной клеветы,  
Отступник света, друг природы,  
Покинул он родной предел  
И в край далекий полетел  
С веселым призраком свободы.

В этих немногих стихах слишком много сказано. Это краткая, но резко  
характеристическая картина пробудившегося сознания общества в лице одного из его  
представителей. Проснулось сознание – и все, что люди почитают хорошим по  
привычке, тяжело пало на душу человека, и он в явной вражде с окружающей его  
действительностью, в борьбе с самим собою; недовольный ничем, во всем видя  
призраки, он летит вдаль за новым призраком, за новым разочарованием... Сколько  
мысли в выражении: «быть жертвою простодушной клеветы»! Ведь клевета не всегда  
бывает действием злобы: чаще всего она бывает плодом невинного желания  
рассеяться занимательным разговором, а иногда и плодом доброжелательства и  
участия столь же искреннего, сколько и неловкого. И все это поэт умел выразить  
одним смелым эпитетом! Таких эпитетов у Пушкина много, и только у него одного  
впервые начали являться такие эпитеты!

По мнению Пушкина, «Бахчисарайский фонтан» слабее «Кавказского пленника». С этим  
нельзя вполне согласиться. В «Бахчисарайском фонтане» (вышедшем в 1824 году)  
заметен значительный шаг вперед со стороны формы: стих лучше, поэзия роскошнее,  
благоуханнее. В основе этой поэмы лежит мысль до того огромная, что она могла бы  
быть под силу только вполне развитому и возмужавшему таланту.<sup>{11}</sup> Очень  
естественно, что Пушкин не совладал с нею и, может быть, оттого-то и был к ней  
уже слишком строг. В диком татарине, пресыщенном гаремною любовью, вдруг  
вспыхивает более человеческое и высокое чувство к женщине, которая чужда всего,  
что составляет прелесть одалиски и что может пленять вкус азиатского варвара. В  
Марии – все европейское, романтическое: это – дева средних веков, существо  
кроткое, скромное, детски-благочестивое. И чувство, неволью внушенное ею Гирею,  
есть чувство романтическое, рыцарское, которое перевернуло вверх дном татарскую  
натуру деспота-разбойника. Сам не понимая, как, почему и для чего, он уважает  
святыню этой беззащитной красоты, он – варвар, для которого взаимность женщины  
никогда не была необходимым условием истинного наслаждения, – он ведет себя в  
отношении к ней почти так, как паладин средних веков:

Гирей несчастную щадит:  
Ее унынье, слезы, стоны  
Тревожат хана краткий сон,  
И для нее смягчает он  
Гарема строгие законы.  
Угрюмый сторож ханских жен

Сочинения Александра Пушкина. Статья шестая. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru

Ни днем, ни ночью к ней не входит,  
Рукой заботливой не он  
На ложе сна ее возводит.  
Не смеет устремиться к ней  
Обидный взор его очей;  
Она в купальне потаенной  
Одна с невольницей своей;  
Сам хан боится девы пленной  
Печальный возмущать покой;  
Гарема в дальнем отделенье  
Позволено ей жить одной:  
И, мнится, в том уединенье  
Сокрылся некто неземной.  
Большого от татарина нельзя и требовать. Но Мария была убита ревнивою Заремою,  
нет и Заремы:

.....она  
Гарема стражами немymi  
В пучину вод опущена.  
В ту ночь, как умерла княжна,  
Свершилось и ее страданье.  
Какая б ни была вина,  
Ужасно было наказанье!  
Смертию Марии не кончились для хана муки неразделенной любви:

Дворец угрюмый опустел,  
Его Гирей опять оставил;  
С толпой татар в чужой предел  
Он злой набег опять направил;  
Он снова в бурях боевых  
Несется мрачный, кровожадный:  
Но в сердце хана чувств иных  
Таится пламень безотрадный.  
Он часто в сечах роковых  
Подъемлет саблю, и с размаха  
Недвижим остается вдруг,  
Глядит с безумием вокруг,  
Бледнеет, будто полный страха,  
И что-то шепчет, и порой  
Горючи слезы льет рекой.

Видите ли: Мария взяла всю жизнь Гирея; встреча с нею была для него минутою перерождения, и если он от нового, неведомого ему чувства, вдохнутого ею, еще не сделался человеком, то уже животное в нем умерло, и он перестал быть татаринoм *comme il faut*. [4] И так, мысль поэмы – перерождение (если не просветление) дикой души через высокое чувство любви. Мысль великая и глубокая. Но молодой поэт не справился с нею, и характер его поэмы в ее самых патетических местах является мелодраматическим. Хотя сам Пушкин находил, что «сцена Заремы с Мариєю имеет драматическое достоинство» (т. XI, стр. 227 и 228), тем не менее ясно, что в этом драматизме проглядывает мелодраматизм. В монологе Заремы есть эта аффектация, это театральное исступление страсти, в которые всегда впадают молодые поэты и которые всегда восхищают молодых людей. Если хотите, эта сцена обнаружила тогда сильные драматические элементы в таланте молодого поэта, но не более как элементы, развития которых следовало ожидать в будущем. Так в эффектной картине молодого художника опытный взгляд знатока видит несомненный залог будущего великого живописца, несмотря на то, что картина сама по себе не многого стоит; так молодой даровитый трагический актер не может скрыть криком и резкостью своих жестов избытка огня и страсти, которые кипят в его душе, но для выражения которых он не выработал еще простой и естественной манеры. И потому мы гораздо больше согласны с Пушкиным касательно его мнения насчет стихов: «Он часто в сечах роковых» и пр. Вот что говорит он о них: «А. Р.<аевский> – хохотал над следующими стихами» (NB мы выписали их выше). «Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Все это смешно, как мелодрама» (т. XI, стр. 228).

Несмотря на то, в поэме много частности обаятельно прекрасных. Портреты Заремы

Сочинения Александра Пушкина. Статья шестая. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru и Марии (особенно Марии) прелестны, хотя в них и проглядывает наивность несколько юношеского одушевления. Но лучшая сторона поэмы, это – описания, или, лучше сказать, живые картины мухаммеданского Крыма: они и теперь чрезвычайно увлекательны. В них нет этого элемента высоты, который так проглядывает в «Кавказском пленнике» в картинах дикого и грандиозного Кавказа. Но они непобедимо очаровывают эту кроткую и роскошную поэзией, которыми запечатлена соблазнительно прекрасная природа Тавриды: краски нашего поэта всегда верны местности. Картина гарема, детские, шаловливые забавы ленивой и уныло однообразной жизни одалисок, татарская песня – все это и теперь еще так живо, так свежо, так обаятельно! Что за роскошь поэзии, например, в этих стихах:

Настала ночь; покрылись тенью  
Тавриды сладостной поля;  
Вдали под тихой лавров сенью  
Я слышу пенье соловья;  
За хором звезд луна восходит;  
Она с безоблачных небес  
На доли, на холмы, на лес  
Сиянье томное наводит.  
Покрыты белой пеленой,  
Как тени легкие мелькая,  
По улицам Бахчисарая,  
Из дома в дом, одна к другой,  
Простых татар спешат супруги  
Делить вечерние досуги!

Описание евнуха, прислушивающегося подозрительным слухом к малейшему шороху, как-то чудно сливается с картиною этой фантастически прекрасной природы, и музыкальность стихов, сладострастие созвучий нежат и лелеют очарованное ухо читателя:

Но всё вокруг него молчит;  
Одни фонтаны сладкозвучны  
Из мраморной темницы бьют,  
И с милой розой неразлучны  
Во мраке соловьи поют...

Здесь даже неправильные усечения не портят стихов. И какую истинно лирическую выходкою, исполненной пафоса, замыкаются эти роскошно сладострастные картины волшебной природы востока:

Как милы темные красы  
Ночей роскошного востока!  
Как сладко льются их часы  
Для обожателей пророка!  
Какая нега в их домах,  
В очаровательных садах,  
В тиши гаремов безопасных,  
Где под влиянием луны  
Все полно тайн и тишины  
И вдохновений сладострастных!

При этой роскоши и невыразимой сладости поэзии, которыми так полон «Бахчисарайский фонтан», в нем пленяет еще эта легкая, светлая грусть, эта поэтическая задумчивость, навеянная на поэта чудно прозрачными и благоуханными ночами востока и поэтической мечтою, которую возбудило в нем предание о таинственном фонтане во дворце Гиреев. Описание этого фонтана дышит глубоким чувством:

Есть надпись: едкими годами  
Еще не сгладилась она.  
За чуждыми ее чертами  
Журчит во мраморе вода  
И каплет хладными слезами,  
Не умолкая никогда.  
Так плачет мать во дни печали  
О сыне, падшем на войне.

Сочинения Александра Пушкина. Статья шестая. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru

Младые девы в той стране  
Преданье старины узнали,  
И мрачный памятник оне  
Фонтаном слез именовали.

Следующие стихи (до конца) составляют превосходнейший музыкальный финал поэмы; словно resume, [5] они сосредоточивают в себе всю силу впечатления, которое должно оставить в душе читателя чтение целой поэмы: в них и роскошь поэтических красок и легкая, светлая, отрадно-сладостная грусть, как бы навеянная немолчным журчанием фонтана слез и представившая разгоряченной фантазии поэта таинственный образ мелькавшей летучею тенью женщины... Гармония последних двадцати стихов упоительна:

Поклонник муз, поклонник мира.  
Забыв и славу и любовь,  
Брега веселые Салгира!

О, скоро вас увижу вновь,  
Приду на склон приморских гор,  
Воспоминаний тайных полный,  
И вновь таврические волны  
Обрадуют мой жадный взор.  
Волшебный край, очей отрада!  
Все живо там: холмы, леса,  
Янтарь и яхонт винограда,  
Долин уютная краса,  
И струй, и тополей прохлада;  
Всё чувство путника манит,  
Когда в час утра безмятежной,  
В горах, дорогою прибрежной,  
Привычный конь его бежит,  
И зеленеющая влага

Пред ним и блещет и шумит  
Вокруг утесов Аю-дага...

Вообще «Бахчисарайский фонтан» – роскошно-поэтическая мечта юности, и отпечаток юности лежит равно и на недостатках его и на достоинствах. Во всяком случае, это – прекрасный, благоухающий цветок, которым можно любоваться безотчетно и бестребовательно, как всеми юношескими произведениями, в которых полнота сил заменяет строгую обдуманность концепции, а роскошь щедрою рукою разбросанных красок – строгую отчетливость выполнения.

Теперь нам предстоит говорить о поэме, которая была поворотным кругом уже созревшего таланта Пушкина на путь истинно художественной деятельности: это – «Цыганы». В «Руслане и Людмиле» Пушкин является даровитым и шаловливым учеником, который во время класса, украдкой от учителя, чертит затейливые арабески, плоды его причудливой и резвой фантазии; в «Кавказском пленнике» и «Бахчисарайском фонтане» это – молодой поэт, еще неопытными пальцами пробуя извлекать из музыкального инструмента самобытные звуки, плоды первых, горячих вдохновений; но в «Цыганах» он – уже художник, глубоко вглядывающийся в жизнь и мощно владеющий своим талантом. «Цыганами» открывается средняя эпоха его поэтической деятельности, к которой мы причисляем еще «Евгения Онегина» (первые шесть глав), «Полтаву», «Графа Нулина», так же как с «Бориса Годунова» начинается последняя, высшая эпоха его вполне возмужавшей художественной деятельности, к которой мы причисляем и все поэмы, после его смерти напечатанные. {12} В следующей статье мы рассмотрим «Цыган», «Полтаву», «Евгения Онегина» и «Графа Нулина», а эту статью заключим взглядом на «Братьев-разбойников», маленькую поэмку, которую, по многим отношениям, считаем престранным явлением.

На первом издании «Цыган», вышедшем в 1827 году, выставлено в заглавии: писано в 1824 году; то же самое выставлено и в заглавии вышедших в 1827 же году «Братьев-разбойников», которые первоначально были напечатаны в одном альманахе 1825 года. Стало быть, обе эти поэмы написаны Пушкиным в один год. {13} Это странно, потому что их разделяет неизмеримое пространство: «Цыганы» – произведение великого поэта, а «Братья-разбойники» – не более, как ученический опыт. В них все ложно, все натянуто, все мелодрама и ни в чем нет истины, – отчего эта поэма очень удобна для пародий. Будь она написана в одно время с «Русланом и Людмилой», – она была бы удивительным фактом огромности таланта Пушкина, ибо – в ней стихи бойки, резки и размашисты, рассказ живой и стремительный. Но как произведение, современное «Цыганам», эта поэма –

Сочинения Александра Пушкина. Статья шестая. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru неразгаданная вещь. Ее разбойники очень похожи на шиллеровых удальцов третьего разряда из шайки Карла Моора, хотя по внешности события и видно, что оно могло случиться только в России. Язык рассказывающего повесть своей жизни разбойника слишком высок для мужика, а понятия – слишком низки для человека из образованного сословия: отсюда и выходит декламация, проговоренная звучными и сильными стихами. Грезы больного разбойника и монологи, обращаемые им в бреду к брату, – решительная мелодрама. Поэмка бедна даже поэзией, которой так богато все, что ни выходило из-под пера Пушкина, даже «Руслан и Людмила». Есть в «Братьях-разбойниках» даже плохие стихи и прозаические обороты, как, например: «Меж ними зрится и беглец», «Нас друг ко другу приковали».

Сноски

1 Я сказал. – Ред.

2 «Неистового Роланда». – Ред.

3 Соч. А. Пушкина, т. XI, стр. 226.

4 Как должно. – Ред.

5 Итог. – Ред.

Комментарии

1 См. примеч. 170. (текст примечания: «Журнальные отклики на поэму Пушкина. См. В. Зелинский «Русская критическая литература о произведениях А. С. Пушкина». М. 1911, изд. 4-е, ч. I, стр. 1–91.»)

2 Цитата из басни Крылова «Музыканты». Белинский цитирует по памяти и неточно. Последний стих у Крылова читается: «И я не похваюсь их добрым поведением» («Басни Ивана Крылова», 1815, ч. 1, стр. 5).

3 Автором статьи, напечатанной за подписью «Житель Бутырской слободы», является редактор «Вестника Европы» М. Т. Каченовский, рьяный приверженец классицизма и один из противников Пушкина.

4 В приводимой выписке из «Вестника Европы» встречаются неточности. В первом абзаце у Каченовского написано: «... показывается посреди океана российской словесности», «пожалуйте напечатать мое письмо» (без «же»), «рассмеются – и оставят намерение». Ниже, перед ссылкой на «Сын отечества» (стр. 121) – инверсия, нужно: «придает ему еще». После стиха: «А как наеду, не спущу...», нужно: «Потом витязь».

5 Комментаторами (Н. И. Мордовченко, Д. Д. Благой) уже установлено, что фраза «умирающий луч солнца» отсутствует в поэме Пушкина. Она взята из одной баллады, напечатанной в «Сыне отечества» в 1820 году, и приведена «Жителем Бутырской слободы» наряду с цитатами из «Руслана и Людмилы» как образчик «безвкусия» и «падения нравов»...

6 В цитате ряд неточностей; нужно: «стихотворец с такими превосходными дарованиями оставил красоты и приличия отечественного языка», затем пропуск целой фразы: «Если, как весьма справедливо заметил один рассудительный критик по случаю разбора баллады «Ольга», первой баллады г. Жуковского», и т. д. Дальше замена слова с иным значением: «то мудрено ли, что теперь люди с посредственными дарованиями или и вовсе без дарований»...

7 Белинский, указывая на «похвальную критику» в «Кавказском пленнике» в «Вестнике Европы» за 1823 год, против обыкновения не ссылается ни на номер, ни на страницу журнала. В 1823 году в «Вестнике Европы» о «Кавказском пленнике» писал М. П. Погодин (№ 1, стр. 35–57). О стихах «Струистый исчезает круг» он говорил, как об одном из прекрасных описаний, «обороте, коим дал знать стихотворец о смерти Черкешенки», стр. 52. Однако Белинский имеет в виду все же какой-то реальный случай. Во всяком случае кн. П. А. Вяземский в своем предисловии к первому изданию «Бахчисарайского фонтана» (1824) говорит, что какой-то «классик» не мог уразуметь смысла стиха «Струистый исчезает круг» (Полн. собр. соч. Вяземского, Спб., 1878, т. I, стр. 172).

8 Сам Белинский был на Кавказе летом 1837 года. Об удивительной верности пушкинских описаний Кавказа он сообщал из Пятигорска в письме к К. Аксакову от

Сочинения Александра Пушкина. Статья шестая. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru  
21 июня 1837 года.

9 Белинский, конечно, не знал, что сам Пушкин еще в 1822 году писал В. П. Горчакову: «Характер Пленника неудачен; доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения. Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века» (Пушкин, Полное собрание сочинений, изд. Академии наук СССР, 1937, т. XIII, стр. 52).

10 Заметка относится к 1830 году. «Н. и А. Р.» – Николай и Александр Раевские. Первому из них посвящена поэма «Кавказский пленник».

11 Белинский сильно преувеличивал значение поэмы. См. также его письмо к В. П. Боткину от 24 февраля – 1 марта 1840 года («Письма», т. II, стр. 67).

12 «Борис Годунов» написан в 1825 году, хотя отдельным изданием вышел только в конце 1830 года (на обложке 1831). Следовательно, он не может открывать собой последней и «высшей эпохи» художественной деятельности Пушкина.

13 Ошибка в хронологии, отчасти сказавшаяся и на оценке «Братьев разбойников». Поэма была написана в 1821–1822 году. Отрывок из нее появился в «одном из альманахов» 1825 года, то есть в «Полярной звезде». В том же альманахе за 1825 год был напечатан отрывок из «Цыган». Полным отдельным изданием обе поэмы вышли в 1827 году: «Цыганы» – в начале мая (с пометкой на титуле: «Писано в 1824 году»), а «Братья разбойники» – двумя изданиями, одно в начале, другое в конце июня месяца (в обоих случаях на титуле с пометкой: «Писано в 1822 году»).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://belinskiyvissarion.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!